

Аркадий Макаров

Летят утки

Аркадий Макаров

Летят утки...
литературные заметы

«Издательские решения»

Макаров А.

Летят утки... литературные заметы / А. Макаров —
«Издательские решения»,

Книга создана на основе воспоминаний автора о литературных товарищах того времени, когда книги читали, по ним сверяли свою жизнь, спорили и сами участвовали в создании этих самых книг.

Содержание

Вместо предисловия	7
Тогда	8
«Серёжа... Серёжа... Сорву я серёжки...»	22
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Летят утки...
литературные заметы
Аркадий Макаров

*Я в книжке записной листаю адреса,
Но все мои друзья ушли на небеса.
Глеб Горбовский*

© Аркадий Макаров, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Вместо предисловия

Эта маленькая, всего в четыре с половиной листа книжица, вырванная из многочисленных, не сброшюрованных страниц моей памяти, рассказывает о том времени, когда писатель имел какое-то значение в общественной жизни.

Я счастлив тем, что ещё с детских лет был связан печатным словом. Много читал, кое-что писал сам. Счастливое время! И не потому, что тогда от молодого задора рвалась на груди рубашка, а от печатного стихотворного знака.

В то время мы все публиковались в молодежной газете «Комсомольское Знамя».

Кстати, автор этих строк однажды удосужился напечататься в той газете, которая еще называлась «Молодой Сталинец»...

Близкая дружба с представителями тогдашнего молодого творческого поколения дает мне право рассказать о них так, какими они были.

Среди нас особенно громко звучали строки известного поэта-фронтовика: «/Давайте после драки /Помашем кулаками, /Не только пиво-раки /Мы ели и лакали. /Нет, назначались сроки, / Готовились бои, /Готовились в пророки /Товарищи мои/».

Да, готовились в пророки...

Эти заметы, на мой взгляд, будут полезны любителям мемуарной литературы, краеведам: – узнать – откуда есть, пошла тамбовская литература.

Аркадий Макаров

Тогда

*...На мои и чужие следы
Опадают зелёные листья*

Юрий Кузнецов

1

– Сутемень, а ты всё сидишь, глаза ломаешь. Читарь! Книгу-то закрой, посиди так вот. Скоро ужинать будем. Красавку подою, и молочко попьёшь. А-то вон, зеленый, какой!

Хорошо с Красавкой! Она у нас в семье, как родственница добрая. Вроде бабушки. Всегда с гостинцами. Молоко в кружке парное, белой пеной вскипает. Пахнет молоко материнскими руками, тёплыми, мягкими, всегда добрыми. А ещё пахнет молоко улицей нашей вечерней, когда стадо возвращается с пастбища, заполняя её, улицу эту, запахами трав, свежего навоза и деревенской пыли. Но летний вечер долог, ещё шмели путаются в мохнатых тяжёлых цветах, а за домами, с краешка, по горизонту, вроде кто крутобоких овец в отару сгоняет, разбрелись за день...

Но то – лето.

Хорошо было, сытно с коровой, пока не пришлось за долги по самообложению (вот ведь налоги какие были! Самообложение! Вроде сам на себе петлю затягиваешь.) Красавку нашу в счёт госпоставок под нож свести.

Лето... Ах, лето! Давно это было. А теперь глубокая осень, каникулы кончились, на улице густые сумерки и небо тёмно-синее, холодное в предвестии первого снега. Мать, хрустящим пучком скомканной газеты, предварительно подышав в стеклянный пузырь керосиновой лампы, протёрла осевшую на его стенках копоть и вставила стекло в жестяной венчик. Пламя на фитиле сразу осело, уплотнилось, раздвинулось вширь, и в доме стало обыденно и скучно: всё те же выгоревшие от времени цветы на обоях, бледная немота ещё не протопленной печи, ушастая лохань для коровьего поила у дверей и лохматые тени, боязливо шныряющие по углам нашей просторной избы. Мир моего детства, суровый и неприглядный в своей реальности. Передо мной раскрытая книга. Закружился, заплутался я в строчках дивных и доселе неведомых, таких, от которых радостью и светлой грустью полниться моё мальчишеское сердце. Засмотрелся в окно, задумался...

А там, в окне, в сумерках поздней осени, мнится мне другой, чудесный мир. Он живёт рядом, такой близкий, на широкой сельской улице, под синеющим к ночным заморозкам, небом: «Дремлет взрытая дорога, ей сегодня примечталось, что совсем, совсем немного ждать зимы седой осталось»

Сердце заходится от неизъяснимого чувства рождённого этими строками; удивительными, необычайно чистыми, как вон тот, только что народившийся месяц. И опять: «Ах, и сам я в чаще звонкой увидел вчера в тумане, рыжий месяц жеребёнком запрягался в наши сани». И ещё... И ещё!

Неуловимая печаль, светлая, просиненная небом, разлитая в небольшой изношенной книжечке с жёлтой обложкой и встревоженной под неожиданным ветром берёзкой, которая, берёзка эта, вот утихнет ветер, выпрямится, раскинет свои ветви, гостеприимно приглашая под свою сень косарей, или того пастуха, что ещё вчера лили слёзы, когда стелились ночные тени, тёплым котёнком шевельнётся в груди и замрёт в ожидании счастья.

С того предзимнего вечера, холодного и неприветливого, от этой маленькой книжечке на всю жизнь осталась сладкая мука невероятной, недостижимой рифмованной строки. Тогда в меня с хрупких от времени страниц изданных в тридцатые осторожные годы, пролилась поэзия русского образа, так заметно отличавшаяся от казённых, хрестоматийных стихотво-

рений Суркова, Грибачёва, Джамбул Джабаева и других Сулейсанов Стальских и Симоновых, и ещё, и ещё кого-то.

Всякие имена были в школьной программе, а Есенина не было. На его книжку стихов я наткнулся случайно, помогая библиотекарше, незабвенной Марье Дмитриевне, разбирать и обновлять фонд.

Те школьные стихотворения, заученные мною наизусть, не вызывали ни какого чувства, кроме радости полученной хорошей оценки в дневник. А в книжечке той жёлтой – всё другое! «Гой ты Русь моя родная! Хаты, в ризах образа. Не видать конца и края, только синь сосёт глаза»...

Вот и сидел я в тот вечер, и сосали мои глаза: изрытая дорога, телега с поднятым вверх, как спаренный пулемёт зенитки, оглоблями, тонкий месяц в прозрачном воздухе, выгнутый в сверкающее кольцо, наши сельские избы, нахохленные, озябшие под соломенными крышами, почерневшими от бесконечных и нудных дождей, и – тишина, тишина, тишина...

Ничего, скоро белые лебеди сядут на луг, и камчатая, из вязаной шерсти накидка прикроет грудь задремавшей у дороги ели. Избы одернуться в белые заячьи тулупчики и будут попыхивать красными трубами в низкое снеговое небо. Скоро зима.

Далеко мне до юности. Ой, как далеко! Мне бы на красном коне проскакать по звонкому весеннему ледку, но это всё будет завтра, а пока – вечер, холодная синева в окне и узкий, осыпающий золотой пылью глаза, новорождённый месяц.

Детство...

2

Тогда у нас на Тамбовщине выходили только две областные газеты: «Тамбовская Правда» и «Молодой Сталинец».

«Молодой Сталинец» – газета была, конечно же, комсомольская.

В те времена, всякие благие и другие начинания связывались с именем вождя. А как же! Он – отец счастливого детства, родной человек...

А детство действительно было счастливым: похлебал кулешу с подсолнечным маслом – и уже хорошо! Уже – жить можно! Правда, школьные уроки очень уж длинные. Были бы покороче, тогда бы ещё – ничего. А то к четвёртому-пятому уроку утренний кулеш в ноздрях стоит – пшено разваристое, лучок до золотой зрелости поджаренный, маслице в кулеше славное, то же золотистое маслице. Духовитое... Скорее бы домой!

А дома опять – картошка в мундире рассыпчатая, смеётся радостно, в руках пляшет, – горячая, тыква пареная, капуста, квашенная с яблоками, конечно – и кулеш. Куда ж без него, без кулеша-то? Голодно будет.

Поел – вот и опять хорошо! Снова носом в книжку или в молодёжную газету. Свежий номер «Молодого Сталинца» почтальон всегда после обеда приносит. А там, в газете, почти в каждом номере, стихи складные – про нашу Победу, про счастливую колхозную жизнь, про целинный, благодатный хлеб. Первооткрыватели вот они – на страницах! И хлеб – вот он, опять кусок под рукой! Потрёшь корочку чесноком. Посыплешь крупчатой солью – хлеб свойский, не магазинный. Похрустывает на зубах, раскалывается крупка – хорошо!

Вот и в газете тоже стихи хорошие о большом урожае, таком большом и богатом, что зерно девать некуда. Может и правда? Только вот в руках у меня хлеб с толчёным картофелем. Врачи говорят – от сердечных болезней хорошо, кальция много. У нас в Бондарях почти все пекут такой хлеб: очистки сначала сушат, потом, картофельные завёртыши толкут в ступе, мешают с ржаной мукой и выпекают караваи в больших, на пол-избы, русских печах. Хлеб хороший. Только горчит немного. А так – ничего, сытный.

И, правда, болезней сердечных в селе ни у кого нет. Ребята здоровые, гладкие, как голыши речные. Лет с шести-семи уже курить начинают. Махорка, табак этот лопушистый, за двором растёт. Свой, вольный.

Пшеничный хлеб у нас называют ситным. Но я ещё такого не разу не пробовал. На Пасху мать однажды пекла из пшеничной муки пышки... Но это что за еда?! Проглотишь в один момент, и опять есть хочется. А хлеб, который у меня в руке, увесистый, тяжёлый. Долго потом в животе полноту чувствуешь.

Читаешь свою молодёжную газету и радуешься, что вон как у нас в стране хорошо живут – и пионерские «зорьки» играют, и тимуровское движение во всех школах силу наращивает, отличники и хорошисты с отстающими занимаются, тянут за собой в светлое завтра, где коммунизм, где все отличниками будут, где хлеб ситный... Хорошо в стране нашей – светло, уютно. Лишь бы войны не было. Немецкого зверя раздавили, и американского гада раздавим. У нас сила есть.

В газете еще стихи про природу бывают, про деревню, про любовь. Но мне нравятся больше стихи о природе, о животных, о городах и заводах, а о любви совсем не нравятся.

Тогда в газетах чаще всего попадались стихи именно такого плана, которые мне нравились, подписанные то ли фамилией, то ли псевдонимом – С. Милосердов.

Если фамилия, – то уж больно хорошая, заступническая. Я фамилию эту сразу запомнил.

В стихах этого С. Милосердова солнышко играет по-пасхальному, дождинки с травой перешёптываются, небесные тайны рассказывают, – что видели, что слышали, какая жизнь там за морями, за морями горькая под капиталистическими магнатами. Дождь из тучи сыплет, а тучи издалека, из-за кордона пришли.

Вот бы встретиться с этим поэтом, поговорить о стихах, о Есенине, почитать что-нибудь, что я сам сочинил...

Трудно писать стихи. Мучительно. Но сладко. Хотя получается ерунда какая-то, не стихотворение, а так, что-то вроде нескладухи: «луна, как призрак в небе бродит, и гонит ночь. А ночь пришла и не уходит прочь...» ну и так далее. А у Милосердова всё складно получается. Получается вот как!

Словно детская игрушка,
Белый парус вдалеке,
И серебряную стружку
Ветер гонит по реке.
.....
Горечь тонкая осины,
Сладость нежная цветка...
Хватит радости в России
Ни на день, а на века.

...Может эти, может какие другие стихи, прочитал я в то время, но какая-то свежесть от всех стихов подписанных «С. Милосердов», всегда присутствовала.

Трудно писать о своём селе, о бондарях, о природе местной. Бедная природа – бугор да яма, да речушка, несмотря на гордое название «Большой Ломовис», тихая, маленькая такая, что я её всю переныривал за один заход от берега до берега. А леса у нас нет, луга одни, да и то колхозные – объездчики туда не пускают...

О чём писать? Об этой кочковатой дороге за окном? Мёрзлая дорога, холодная. Неинтересно! Пойти бы куда-нибудь туда, где белые лебеди снегов скоро с неба спустятся, да в валенках ходить рано, а ботинок или резиновых сапог у меня нет. Правда, галоши вон

в углу стоят рубчатые, они у нас «шахтёрками» называются, но они для школы. Оденешь – и бегом, чтобы ноги не успели застыть.

Однажды я попробовал написать стихотворение о своей жизни. Правдивое стихотворение. Вроде складно получилось. Читал матери, а она почему-то заплакала, и велела эти стихи никому не показывать. Говорит: «Беду в дом принесёшь. Не пиши больше. Не забивай голову. Не надо...»

А мне похвалиться хочется. Слова с языка так и просятся на волю. У Некрасова тоже похожие стихи есть, а мои – тоже ничего:

Кушай хлеб, Аркаша,
Молочка-то нет.
Где ж коровка наша?!
Взяли в сельсовет.

Вечерами длинными —
Холода и дрожь...
А её родимую
Увели под нож.

Ты её по имени
Больше не зови...
Молочко из вымени
Потечёт в крови.

Корову нашу, Красавку ненаглядную, действительно увели в счёт госпоставок мяса... Потихоньку, чтобы никто не видел, показал учительнице русского языка. Пожилая учительница, она ещё в земской школе до нового времени уроки вела. Клавдией Петровной звали.

Схватила Клавдия Петровна за голову:

– Ты что? Детям о таких вещах писать нельзя. Забудь эти строчки! И я их не слышала! Понял? Пиши о нашей пионерской дружине, о классе своём.

О пионерской дружине я никогда не писал и не пробовал. Потому что не был я пионером. Поведение не то. Но о классе может, что и получится...

На другой день написал о вечной прогульщице уроков Маше, соседке своей. Скушно одному за партой сидеть. А соседка часто пропускает школу. Болеет – говорили.

Вот я и написал в стенгазету:
У Чекмарёвой Марии
Каждый день аварии:
В понедельник – день бездельник,
А во вторник – выходной,
В среду в класс пришла больной...
А в четверг и пятницу
Без конца сопатится.

...Попробовал бы теперь прощения попросить... Да, где там? А-у! не догонишь. Обиделась на меня Маша Чекмарёва. Попросила нашу классную учительницу пересадить её на другой конец. Клавдия Петровна так и сделала. А ко мне посадили Тоньку Пономарёву,

двоечницу. Она все контрольные у меня списывала. Пододвинется, бывало, плотно-плотно, вроде озябла, и суёт нос в тетради: «Что это у тебя? Да это что?»

Я ей однажды нос бельевой прищепкой зажал и подержал немного. Пружина стальная. Потом от соплей руки никак не мог оттереть. Драл меня отец потом так, что я сидеть за партой не мог, и стоял все уроки.

– Что ты не садишься? – спрашивали

– Простыл вот – говорю, – чирей у меня на этом месте!

– А-а... Тогда стой. Большим вырастишь.

Большим я так и не вырос, в армии, когда случил, в строю почти в самом конце стоял по ранжиру. Не вырос большим, но девочек с тех пор больше не обижал, хотя от них терпел всякое...

А потом в классе восьмом-девятом хлынули стихи вроде этих:

...Ты восхищалась красками лета,
Луной, что смеялась в небе.
Просила меня: «Опиши всё это
В лирической поэме.
Я целовал твои локоны
По-детски, ещё неумело.
Ромашки цвели около
Белые-белые...
Наши мечты и ласки
Слушал задумчивый пруд...
Так почему же ромашки
Теперь не цветут?

Но это я воображал больше. В росте себе прибавлял. А на самом деле, даже не целовался ещё...

Вот и пришло то заветное «завтра». Школа осталась где-то там, за пыльной дорогой, по которой я ушёл в город. Глаза слезило от пыли... Не оглянулся. Не схватился за голову. Оттолкнул дверь – и не посмотрел назад.

3

В тот самый год я вытащил счастливый билет, счастливее которого не бывает. Я остался жить.

Молодость больна несуразностями и бредовыми идеями, поступками, объяснить которые я не могу даже сейчас, оглядываясь назад. Почаще бы надо было делать это, чтобы правильнее смотреть и видеть...

Тогда был у меня друг Валёк, Валентин Тищенко – малый отчаянный, как теперь говорят – крутой, склонный к разным поступкам. А поступки эти и у меня были не совсем безобидными.

Валёк страдал фобией бродяжничества. Ко всему прочему, и меня заразил сладостной, щемящей тоской расставания навсегда с пронсящим мимо пространством: посёлками, изменчивым ландшафтом, людьми – со всем тем, с которым знаешь уже заранее, никогда не встретишься. Странное чувство...

Крыши вагонов летящего к горизонту поезда не совсем подходящее место для философских раздумий и созерцаний, отвлекись на минутку и тебя сдует, как соринку с ладони и ойкнуть не успеешь.

...Валёк сидит, прислонившись к вентиляционной трубе спиной, подставляя худую, но напористую грудь встречному ветру.

Летим!

Куда летим – неизвестно, но хорошо-то как! Валёк смеётся. Он всегда смеётся, когда я пытаюсь объяснить ему свои ощущения от стремительности полёта, когда чувствуешь что земля по-настоящему круглая и вращается, пронося мимо русскую бескрайность. Мне становится грустно и сладко, что я уже никогда не вернусь в эту, равную одному мгновению взора, точку на земном шаре, где у стационарного домика копошатся куры в придорожной пыли, где девочка, в красном сарафанчике приложив ладонь к глазам, с удивлением смотрит на нас, а потом, спохватившись, вскидывает вверх худенькие руки, по родственному провожая нас. Счастливого тебе детства, девочка! Не уходи далеко от родного дома! Пропадешь!

Я пытаюсь передать другу свои чувства к этой стационарной девочке, к её одиночеству, а он иронически смеётся. Он всегда смеётся. Особенно ему весело, когда я читаю свои, только что составленные стихи, придерживая рукой колотящееся от волнения сердце. В это время, в который раз, в моей душе рвутся все дружеские связи с ним, и вскипает желание столкнуть его туда, в пролёт между вагонами, под разящий высверк колёс. Но ненависть, kloкочущая во мне равна привязанности к нему, и я не сталкиваю его в пропасть, где сверкающие катушки по сумасшедшему мотают и мотают стальное полотно дороги, бесконечную ленту похожую на стремительную отмашку опасной бритвы возле лица.

И вот мой друг сидит прижатый к вентиляционной трубе напористым ветром, а я стою перед ним восторженный и счастливый от удачно найденной строчки. Широко расставленные ноги припаялись к тверди вагона – не сдует! Поезд несётся, чёрт те знает куда, и я взмахиваю руками, как крикливая птица. Читаю взахлёб свои новые стихи, которые слышит только ветер да весёлый Валёк, друг и товарищ.

Ветер одобрительно шумит мне в уши, а Валёк смеётся. Валёк не понимает меня... Восторг и злость вскипают в груди. В глазах только синеватая предвечерняя дымка с уплывающей рощицей каких-то деревьев. И – во все стороны небо!

Вдруг ноги мои отрываются от тверди, от железного настила крыши, и я, с гениальной застывшей ко рту строчкой, опрокидываюсь навзничь. Надо мной, на расстоянии вытянутой руки, каменный чёрный свод, поезд, вихляясь, проскакивает короткую перемычку – то ли тоннель, то ли старинный мост через дорогу. Ещё какая-то доля секунды, и мне с проломленным черепом валяться бы на сыпучем мазутном гравии железнодорожного откоса безымянного переезда.

Валёк не зачарованный моими поэтическими всплесками, увидав неожиданно летящую на нас каменную громаду, сдёрнул мои ноги за метр от, казалось бы, неизбежного.

Так могло бы всё кончиться глупо и бессмысленно.

Скоро была сверкающая огнями большая станция, и местный вокзал с буфетом был бы для нас раем, если бы были деньги. А их у нас в то время никогда не было.

Но, что деньги? Деньги – навоз, когда рядом мой друг Валёк! Он мгновенно превращается в обыкновенного идиота, которых много странствует по российским дорогам и весям в поисках пропитания и лучшей жизни. У моего друга, как только мы вступили на перрон, мгновенно отвисает челюсть и с дрожащего подбородка белёсой струйкой начинает стекать тягучая слюна, белки глаз выворочено розовеют... Несчастный юноша! А такой молодой!

Моей задачей было поддерживать его трясущееся тело и называться братом «несчастливого».

Валёк сразу, как только подошли к буфету, по-животному замычал, стараясь показать всем видом, как ему хочется есть. Женщины, даже буфетчицы, сердобольны. Кто откажет в куске хлеба двум несчастным подросткам, ушибленным судьбой?

Горячие пирожки с мясом и стакан компота сделали своё дело. Неожиданная сытость после голодного дня умиротворяет, – захотелось сразу домой, в уют, под надёжную крышу...

В последний раз на сверкающей праздничными огнями железнодорожной станции, название которой не удержалось в памяти, я обманывал сердобольную буфетчицу, называясь братом своего непутёвого друга.

Братом ему я не был.

Теперь всё это: и большие огни вокзалов, и стремительность полёта, и вольный ветер, раздувающий пузырьём рубаху, и летящие мимо пространства – холмы, перелески, лощины – всё стало не более, как озорство и только. Я неожиданно вспомнил, что после школы надо было где-то и чему-то учиться, я молча снял с плеча Валькину руку, хотя и верную, но зыбкую...

Забившись в угол машинного отделения тепловоза отправляющегося в сторону Тамбова, я навсегда распрощался с детством.

Я никуда не успел, но в отдел кадров монтажного управления я не опоздал. Рабочие тогда были в такой цене, что потребовалось более десяти лет, чтобы понять – счастье не в кузнечном грохоте завода...

На другой день я уже с подъемными деньгами под подушкой спокойно спал на чистых казённых простынях рабочего общежития, пахнущих свежим, только что выпавшим снегом. Началась новая, ни с чем не сравнимая жизнь рабочего парня с городской окраины со всеми её прелестями и забавами.

«Дурак ты – говорил мне незабвенный дядя Володя Богданов, бригадир и наставник, – тебе учиться надо, а ты с нами, пропойцами связался...»

4

Среди гомона, грохота и грома цехов и стройплощадок, где наша бригада «Ух!» монтировала всевозможные и невозможные металлоконструкции и механизмы, возвышенные душевные силы стали уступать место физическим. Инструмент монтажника – кувалда и гаечный ключ с монтировкой – «крокодил», а всё остальное – руки. Как говорили мои тогдашние учителя жизни – плоское катаем, круглое таскаем, а, что не поддаётся – ломиком!

Так вот, с кувалдой и ломом я вошёл в свою новую жизнь плотно, как патрон к патроннику, и начал делать её эту жизнь.

После рабочей смены такой труд валил с ног, как стакан горькой тёплой водки. В чём-чём, а в этом у нас в бригаде недостатка никогда не было.

Там, в рабочей среде, среди фабричных и заводских ребят, во всех отношениях ценились быстрота и натиск. Девчонки, в основном такие же недавние школьницы из оргнабора и комсомольских путёвок, вырвавшиеся на волю, подальше от родительского глаза, недоступностью не страдали. Короткие, ничему не обязывающие результативные стычки, вместо свойственных в других условиях романтических встреч с дрожанием голоса и рук, были для нас наградой за каждодневный угробистый физический труд.

Попав в водоворот, я кружился в нём, как листок, сорванный с родной ветки в осеннем потоке. И я забыл всё, чем наполнилась моя душа до этого.

Когда память возвращалась, я уходил в одиночество: оставлял свои рабочие будни за высокими массивными дверями областной библиотеки, которая тогда располагалась в монументальном красном кирпичном здании нынешней картинной галереи.

Тихое блаженство читального зала. Настольные лампы под зелёными абажурами. И – книги, книги, книги, которые я ещё не читал, журналы, газеты. Голод неразборчив, и я поглощал всё печатное, пропадая в запойном книжном мире. Лучших дней у меня не было. Они только и остались, как первая любовь, от всей моей рабочей юности, незабываемые и светлые...

Дальше начиналось сумбурное и неприбранное. Время встреч и несвершённых ожиданий.

5

Тогда с двумя громкими поэтами, почти моими сверстниками – Толей Куприным и Вячеславом Шутковым, уже печатающимися в молодёжной газете, я познакомился там же – в библиотеке.

Сойтись на короткую ногу с гонористыми городскими ребятами мне, деревенскому пареньку, было не так-то просто.

О том, что эти двое занозистых, поэты я узнал по их восторженным разговорам в курилке и потому, как они словно сельские петухи, закрыв глаза и вытягивая шеи, выкрикивали удачные строчки своих стихов, будто только что нашли в навозе жемчужное зерно.

Я страшно завидовал им, толкался около и слушал, слушал. Моё сердце растворялось в рифмованных строчках, как сахар в кипятке.

Эти молодые стихотворцы читали вслух не только свои, по-мальчишески запальчивые строчки, но и неизвестных мне ещё; Багрицкий, Луговской, Заболотский, Слуцкий, Кирсанов – имена этих поэтов не числились в наших школьных учебниках.

Теперь все мои старые понятия о стихосложении опрокидывались навзничь. Оказывается, в хороших стихах не всегда необходима, так называемая складность, а нужно что-то ещё крепкое, неуловимое, что забирает душу в кулак, и она, эта душа, начинает тихо постанывать, истекая сладостными чувствами.

Мои новые знакомые не сразу, но постепенно, видя мою заинтересованность ими, признали меня за своего, чем я гордился необыкновенно. Особый восторг пришёл тогда, когда я прочитал им что-то своё и получил снисходительную похвалу и поддержку.

В один из таких вечеров, поздней промозглой осенью, когда ветер приносил из соседнего парка палые листья и лепил их на мокрые высокие окна читального зала, к моим новым друзьям подошёл высокий очкастый мужчина лет сорока, и к моему удивлению тоже, глухо прокашлявшись, стал читать стихи немного тягучим грудным голосом.

Его солидный возраст, осанка тяжеловатая и неспешная, рифмованные строчки неподходящие его возрасту поставили меня в тупик – такого у себя в Бондарях я вряд ли когда-нибудь услышу. Сельские наши мужики больше специалисты по пахоте, если что и рифмовали, то с «картинками», как у нас говорили, то есть с матершиной. Ну, если когда и запоют что-нибудь душевное, то только после хорошей пьянки. А этот мужик, учитель что ли, читал стихи чудные, запрокидывая голову, словно снимал с потолка уже готовые, с хорошей рифмовкой строчки. От его великолепных очков, как от маленьких прожекторов, по выбеленной плоскости потолка пробегали светлые пятнышки, словно искали что-то и находили.

Стихи о вымокших стогах на поле, тягучие дожди над размытыми дорогами, пьяный подсолнух, горестно уронивший на изгородь свою непутёвую голову: всё это мне было знакомо и близко так, что стихи очкарика воспринимались по-живому и сразу, вроде я их и сам написал – такие обычные слова...

Но я тогда ошибался. Это была, как раз, та самая тихая лирика, на которой потом выросли: Рубцов, Передереев, Куняев и наш земляк Вячеслав Богданов... Русская лирика, русский голос, не властный, но выразительный до защемления сердца.

– Это кто? – спросил я, отведя Славу Шуткова в сторонку.

– Как, ты не знаешь? Это же Семён Милосердов! – в голосе товарища слышалось неподдельное уважение. – Он, – Слава кивнул головой в сторону, откуда всё ещё слышался грудной напевный голос, – настоящий поэт! Только из тюрьмы вышел – притушил Шутков со значением голос.

Тогда для меня, человек вышедший из тюрьмы, был роднее родного брата, за таким человеком тянулся шлейф романтики и бунтарства, непокорности власти и многое, многое другое. Значит он – мужик что надо! У нас, в бригаде монтажников, почти все оттуда, с той стороны, мировые ребята! Что покурить, что выпить с ними, что поговорить – одно удовольствие!

Я не поверил Шуткову. Чтобы этот интеллигент, да ещё в очках, был бывшим зеком, да не в жизнь! Поэтому, знакомясь с очкариком, я, нагло сплюнув себе под ноги, как делают бывалые ребята, протянул свою, хоть и небольшую, но достаточно мозолистую ладонь. Мол, знай наших! Но очкастый или не заметил моей наглости, или не придал такому хамству значения, пожал вежливо мне руку и назвал своё имя.

Тогда я, имея честно заработанную трёшку в кармане, предложил сбегать за бутылкой и отметить, но очкарик отказался, что меня несказанно удивило. Удивило даже больше чем отсутствие наколок на руках и всяческих перстней на пальцах, говорящих о лагерном авторитете.

«Ненормальный какой-то, – подумалось мне. – В очках... стихи читает..., – конечно, ненормальный!»

Юношеский максимализм и самоубеждённость в то время так и пёрли из меня наружу, за что я неоднократно расплачивался одиночеством.

6

Если фамилия что-то говорит о человеке, то о Семёне Семёновиче Милосердове фамилия сказала всё.

Милосердов был очень мягким и лёгким в обращении человеком, деликатным, несломленным одиночной камерой смертников, ни лагерным унижительным существованием.

Много чего рассказывал Семён Семёнович о себе в редкие минуты откровения. Так получилось, что я много раз был его внимательным и признательным слушателем.

Поэт никогда не жаловался на свои бесполезно истраченные за колючей проволокой и на лесоповалах годы. Наверное, действительно, страдания очищают и возвышают человека, как говорит Священное Писание.

Мне никогда не приходилось видеть его недоброжелательным к кому-либо. А это, признаться, в среде писателей многого стоит.

О своих лагерных злоключениях Семён Семёнович Милосердов рассказывал с мягким юмором и короткими смешками. Но во всех его тюремных байках проскальзывала тихая грусть. Как будто лёгкий дождичек источался из его слов, – там он был молод, талантлив, но со связанными за спиной крыльями.

Полученная на войне рана искалечила его ногу, но в зоне это не давало никакого снисхождения и преимущества. Там были другие законы и понятия. За пайку надо было ломиться так и горбатиться, что не разогнешься до самой смерти. Вольготно жилось только уголовным авторитетам, вора в законе, для которых труд – «за падло». Пайку с добавкой им зарабатывали такие, как Семен Семёнович – «мужики» по лагерному кодексу. У авторитетов всегда – «пайка с маслом и водка с квасом» – говорил. Посмеиваясь, бывший зек, поэт Милосердов. «Мужик Семён» – так называли его в лагере.

Кроме угробистой физической работы у Семёна Семёновича была ещё и негласная обязанность – помогать писать друзьям по несчастию прошения о помиловании. Многие его «ходатайства» за «мужиков» получали положительные решения у прокуроров, и Милосердов заимел в последствии среди солагерников такой авторитет, настоящее уважение, которое ни в коей мере не равнялось на авторитет воров в законе, но всё-таки приносило поэту послабление от товарищей.

Блатные, наслушавшись баек о писательских талантах «мужика Семёна» нанимали его писать душеспасительные письма «малявы» свои оставленным на свободе подельникам и «марухам», за что «мужику Семёну» разрешалось разделять трапезы с авторитетами. В лагерных условиях – невиданное дело!

Блатные «мужиков» не трогали, но и рядом с собой не сажали. Каста не та. А «Семёна» угощали на равных, значит тоже признанный авторитет, хотя и не блатной.

Слава о «мужике Семёне» расходилась по лагерю, как чефир по кругу.

В уголовной среде держит «масть» сила, а её, этой силы, у Милосердова, израненного и искалеченного, не то чтобы маловато, а совсем ничего. А тут, как на грех, по лагерю почин объявился.

Рассказывая об этом почине, Семён Семёнович поднимал голову высверкивая очками и с таинственной улыбкой посматривал в потолок.

Дело в том, что начальственная власть изощрённа и на выдумки горазда. Вот и придумали в политорганах Гулага хитроумный способ повышение норм выработки.

И, действительно. После объявления этого почина, плановые задания и без того высокие, перекрываться стали на двести и более процентов.

На лесоповальных участках такого до сих пор не случалось. Раньше работали только за пайку да за воров в законе, других стимулов не было, а теперь работали ещё и за «интерес». Лагерь завозился, как улей. Отрядные только головами покачивали: «Ну, „мужики“! Кормёжка вроде всё та же, а сила изо всех щелей прёт! Вот-те да! Вот – те заманка!..»

Замысел начальников был психологически и физиологически выверен. Прост, как всё гениальное. Действовал безотказно.

Замысел состоял в том, что в двух километрах от мужского лагеря, где отбывал свою неосознанную повинность поэт Милосердов, располагалась женская колония, и это надо было как-то использовать в трудовом соревновании.

Женщины в основном работали на обрубке сучьев, веток, уборки территории лесоповала. Работа, надо сказать, тоже не из лёгких.

Женщин выводили из зоны и вводили обратно с работ до объявления «почина» в разное время с мужским лагерем, чтобы, не дай Бог, двум колоннам встретится вместе. Мало ли что могло случиться? Остерегалось начальство эксцессов, боялось. А тут каждый день женщин стали водить таким образом, что дороги их с мужичками на короткое время пересекались. И тогда – захлёбывались горлом не только сторожевые собаки. Охрана для остратки стреляла поверх голов, но крики восторга унять да и перекрыть выстрелами не могла, а может, и не хотела. Даже давали команду замедлить шаг. И что тогда было! Человеческий котёл взрывался слезами и смехом. Кричали все разное, но смысл был один – не пресекаемая и неуничтожимая тоска по естеству.

«Представь себе – говорил, посмеиваясь, Семён Семёнович, при этом глаза его за стёклами очков молодо загорались неизживаемым оптимизмом бывшего зека. – представь себе – после невыносимых ограничений – и невероятное! Мужики и бабы. И всё это на расстоянии вытянутой руки. Но – шаг в сторону считался побегом. Пуля с той или с этой стороны обеспечена. Не промахнётся, поцелует – это уж точно, последним смертельным поцелуем. Вот и кричали, исходили воплями обе колонны – видит око, да зуб неймёт... Конечно, изощрённость инквизиторская. Сатанинская. – Семён Семёнович теперь уже возмущённо поблескивал очками. – Всё было выверено и рассчитано по законам биологическим. А тут и приказ-распоряжение зачитали по отрядам: победителей соревнования, это тех, кто в течение полугода даст не менее двести процентов выработки, ждёт «культпоход» в женский лагерь со всеми вытекающими отсюда последствиями, так сказать – Милосердов улыбнулся своим воспоминаниям. – Начальство закамouflировало встречу этих двух миров, говоря проще, – мужиков и баб, под обмен опытом в художественной самодеятельности. Ну, мужики и пошли

вкалывать! За двойную пайку так не горбатились. За месяц квартальный план выполнили. Женщины – великая сила! Ха-ха-ха! – Семён Семёнович сняв очки, стал протирать подмокшие глаза, наверное, не всё так было смешно...

Надо сказать, Семён Семёнович Милосердов, несмотря на лагерное прошлое, «феней» никогда не пользовался. Интеллигент – он и в Африке – интеллигент.

От неумных матерных слов Милосердов всегда морщился и останавливал под каким-нибудь предлогом матерщинника. Ну, никак не прививалась к нему эта наука русского словотворчества.

Бережное отношение к слову переносилось им и на поэзию, в его стихи, в чём можно убедиться, открыв на любой странице его сборники. Берёг он слово, не транжиривал понапрасну.

С той же бережливостью относился он и к женщине. Поэтому красочный рассказ его о встречном обмене передовиков обошёлся без крутого перчика и клубнички.

– Так вот, – улыбался Милосердов, – отобраны лучшие из лучших – ударники подневольного труда. Не обошлось, конечно, и без блатняков. Те не утомлялись, но очень рвались в женскую колонию. «Марухи – говорили, – у нас там. Нам никак нельзя. Нам повидаться надо. Поквитаться. Приласкать кого надо. Должок спросить».

В лагере без блатняков ни один почин не бывает. Паразиты – одним словом. За ними сила воровских законов. Поддержка. Ну, вот – продолжает Семён Семёнович, – приехали. Как только мы вышли на сцену. Так нам и показать свою самодеятельность, попеть-поплясать, не дали. Со сцены женщины нас на руках выносили. Поплыли эти танцоры с певунами и мастерами художественного слова. Заначки, они и в лагере, заначки. Щелей и чуланчиков разных много. Вот и рассредоточились. А кому не досталось укромного места, так и под небом хорошо, лучше не бывает – Семён Семёнович смеётся лукаво, весело. Наверное, поозорничать и ему пришлось. Вспомнил вот, и снова мальчишкой стал, вроде и не было обид и страданий лагерной жизни. – Вохровцы, – говорит, откашлявшись Милосердов. – потом почти целые сутки собирали счастливых. Неумеренность даже в этом деле сыграла плохую службу. После этого указ вышел о переводе начальника лагеря куда-то на юг Ледовитого океана. Далеко. Так и остался почин этот без продолжения. Не поняли начальники в Москве душевных порывов. Не получилось. Так вот...

Вспоминая этот рассказ, я и теперь вижу сверкающие очки и задорное, запрокинутое к небу, по-русски добродушное лицо Семёна Милосердова. Он всегда парил выше уровня горизонта, какие бы трудности ему не встречались. Но к быту, обыденным вопросам жизни он, как мне казалось, был мало приспособлен, что можно подтвердить одним характерным случаем: однажды встретив меня на улице, Семён Семёнович посетовал на то, что в такую жару он не может принять душ – что-то случилось с краном.

Ну, кран, водопровод. Батареи отопления, железяки всякие – были как раз по моей специальности. Только инженерный институт окончил.

– Проще простого! – говорю я Семёну Семёновичу. – Ставь бутылку, и кран будет работать, как у молодого! – ёрничаю.

– Ну, бутылки у меня нет, а вот спиртику пузырёк найду. Пошли!

Приходим на его новую, большую, в три комнаты квартиру. Он заводит меня в ванную комнату.

– Смотри! – отвернул кран.

Из сверкающего никелем крана душевой установки только, как из простуженного детского носика, сопелька бежит. И – всё.

Какого же было его удивление, когда я, прямо на его глазах легко отвернул блестящую коронку на кране, освободил седёлку клапана от окарины, и мощная струя загудела, запела, ударяясь о дно ванны. И мы с Семёном Семёновичем тоже ударили по рукам.

Спирт – вещь ходовая в любое время. Разве откажешься? Но сам хозяин моего энтузиазма насчёт питья поддержал только в самых маленьких количествах, сославшись на здоровье. Может быть, поэтому я в тот день оказался далеко-далеко от дома и в несовсем уютной обстановке. О чём и рассказывать не хочется.

Семёна Семёновича не могли испортить ни военные годы. Ни годы лагерей, где редкий человек не ломается. Пил он всегда умеренно. И то только сухие и слабые вина, которыми мы. Его младшие товарищи и почитатели, всегда пренебрегали, испорченные волей и безотцовщиной.

Несмотря ни на что, поэт Милосердов любил молодых и всячески опекал нас, был снисходителен, но и по-товарищески требователен.

Первым, от кого я услышал добрые слова о себе, был, конечно, Семён Семёнович. Не раз мои стихи появлялись в областной печати с его напутствующими строчками, что в настоящее время встречается редко, а зря. Добрые творческие высказывания старших окрыляют и вселяют веру в собственные силы.

Но что говорить? Теперь и времена другие, и нравы...

Мне до сих пор памятен тот день, когда Милосердов поздравил меня по телефону и радостно сообщил, что в обширной академической работе Института Русской литературы «История советской поэзии за 1941—1980 годы» есть упоминание и о моём творчестве. Милосердов весело шутил, мол, задаваться теперь станешь, в классики вышел! Нам старикам и руки не подашь. Но это было сказано от всей щедрости и благодушия доброго человека, безо всяких подначек, на которые так богата творческая братия.

Семён Семёнович был романтиком с головы до пяток. Мог восторгаться чужими стихами, так, как будто только что написал их сам. Но иногда и поругивал: «Аркадий, не говори красиво!» – и хлопал меня по плечу, повторяя слова одного из героев островского, когда я, захлёбываясь эпитетами, увлечённо читал ему при встречах что-нибудь своё новое.

Я обижался, но Семён Семёнович был абсолютно прав всегда. Излишняя метафоричность делала тогдашние мои стихи подобием развесистой клюквы, кружев разных...

Но как радовался Милосердов, когда кому-то из наших молодых удавалось сказать своё неповторимое слово. Семён Семёнович в этом отношении был настоящим педагогом, умным и благожелательным. Недаром же он до конца своих дней вёл литературное объединение «Радуга». Это объединение было настоящей школой для начинающих писать. Теперь об этом, увы, осталась одна память...

7

...Тогда, в далёком пятьдесят седьмом году прошлого века, мы вышли из областной библиотеки имени Пушкина: Семён Милосердов, молодой ещё, Анатолий Куприн, задиристый и уверенный, Вячеслав Шутков, ироничный и всезнающий, и я – деревенский, но достаточно наглый, оставив за спиной такой таинственный и тихий свет зелёных ламп читального зала.

Вышли на широкую улицу. Стояла поздняя осень, и лёгкий к ночи морозец уже намекал на скорую зиму. В городе гулко и просторно. Празднично горят высокие фонари на столбах. На перекрёстке, возле бывшего музыкального училища, как большая круглая луна, светились электрические часы с огромными стрелками. Тогда почти по всему городу такие часы висели, напоминая влюблённым о свиданиях, а женатым, о домашнем уюте и горячей чашке чая. Сколько под такими часами пережито вздохов и разочарований! Сколько томительных часов!

Но это было потом. А пока на улице оживлённо и суетно. Заканчивался рабочий день. Люд, оставивший свои производственные заботы за проходной, торопливо шли, обгоняя нас, увлечённых молодостью и стихами.

Помнится, Слава Шутков как раз обкатывал звучного Эдуарда Багрицкого, посматривая на нашу реакцию. Багрицкий тогда был на слуху и у тамбовских поэтах в большом почёте. А как же? Поэт, отвергающий напрочь мещанский быт и обыденность: «От чёрного хлеба и верной жены мы бледною немочью поражены», отвергающий своих родителей – «... И надо мною ржавые евреи косых бород скрестили лезвия», пренебрегающий семенными устоями – «...Я покидаю ржавую кровать. Уйти? Уйду! Тем лучше. Наплевать!».

Нам ли, вкусившим волю, не чтить этого поэта? Строчки – «По рыбам, по звёздам проносит шаланду...» меня привели в совершенный восторг. Багрицкого у нас в школьной программе не было, а факультативных занятий тогда не велось. Какой факультатив, когда в нашей маленькой сельской школе занятия проходили в две смены, а классы были настолько уплотнены, что к радости всех учеников, опрос любого был не чаще одного раза в месяц – тридцать пять, сорок человек в малюсенькой классной комнате! Поэтому знание мной поэзии, дальше общеизвестных поэтов революционной и социальной направленности не распространялось, и я шел, теперь поглядывая на своих попутчиков, оглушённый их эрудицией.

Высокий, слегка прихрамывающий, Милосердов больше был похож на мудрого учителя, чем на поэта. Очень он уж аккуратен был!

Помню тогда, в тот осенний хрусткий вечер он на радость нам прочитал «дядю Володю», это так мои знакомые поэта Луговского звали, ещё живого, его знаменитую «Песнь о ветре».

Читал Семён Семёнович, конечно, мастерски, по соловьиному перекатывая игручную словесную ртуть в горле, и эта его манера чтения будила во мне творческий азарт и вдохновение.

Потом были ещё стихи Сельвинского, Иосифа Уткина, Павла Когана. От отчаяния у меня навёртывались слёзы на глазах; я был настоящим профаном в поэзии и литературе, и понял – надо учиться, во что бы то ни стало, зубами цепляться за университетские знания.

То было незабываемое время! Время политической оттепели. Необычайно вырос интерес к поэзии и литературному слову. Устраивались вечера в студенческих аудиториях, рабочих общежитиях, в клубах и везде нас встречали с неизменным успехом, особенно девочки.

Всю ту зиму, после встречи с молодыми и начинающими поэтами-сверстниками, после встречи с Семёном Милосердовым, я с головой окунулся в поэзию начала двадцатого века, которая наиболее полно отвечала моему тогдашнему представлению о настоящей жизни в искусстве. А летом я поступил в местный пединститут на историко-филологическое отделение, правда, на вечерний факультет. Ко мне, как к рабочему парню, при зачислении на учёбу отнеслись с большой снисходительностью. Требования к абитуриентам тогда были необычайно высокие. Учиться в институте, в силу моей несдержанности и неряшливого образа жизни, мне тогда не удалось. После службы в Армии мне всё же удалось закончить вуз, но только технический...

Добрые были времена! Хорошие времена! О них-то я и вспоминаю сейчас с доброй улыбкой, хотя и грустной. Как там сказано у Слуцкого, кажется: «Давайте после драки помашем кулаками. Не только пиво-раки мы ели и лакали. Нет, назначались сроки, готовились бои. Готовились в пророки товарищи мои...!»

Как молоды мы были! Как верили в себя!

Господи! Уже почти полвека прошло с той поры, а я всё мальчишествовую, строю планы... Тороплю жизнь. Так ли мы думали тогда? Ведь тоже торопились, мальчишествовали, строили планы...

Вместо эпилога

В мире всё взаимосвязано, одно перетекает в другое, в третье... Из тоненького светлого ручейка, каковым является жизнь одного человека, рождаются мощные реки национальных

объединений и народов, которые в свою очередь. Вливаются в моря, наполняя мир недолговечных разумных существ собою.

Кажется, бился родничок где-то, жил, толкался, промывая песчинки, пестал солнце, его заваливали мусором, забрасывали бетонными глыбами, душили земляной насыпью, но он снова пробивался, и снова булькал, жмурясь от света, радовался новому дню. А рядом, точно такой же родничок торкался, хорохорился, торопился жить. Но тоже, грохоча и круша ивняковую поросль, подъехал грузовик-самосвал, железная душа и тоже засыпал щебнем солнечную струйку, но и тот смог просочиться сквозь осколки и осколки бытия. И вот, эти два ручейка сплелись-обнялись. И им уже стало легче вдвоём, размывая запруды, искать свою реку, свою Волгу...

С письмом, которое лежит передо мной, я ознакомился позже. Гораздо позже того, когда оно было написано.

Иван Игнатьевич Овсянников, заместитель редактора «Тамбовской Жизни», сам большой друг, любитель и пропагандист творчества поэта Милосердова, знакомясь с этим маленьким повествованием о моих тогдашних встречах, показал мне письмо из Донецка.

Человек, автор письма, художник, и тоже хлебнул горьких и кислых щей, по-другому сказать, лагерной баланды вместе с Семёном Милосердовым в одном бараке.

Вот ведь как бывает в жизни! Действительно, гора с горой не сходиться, а человек с человеком...

Правда, письмо не застало на этом свете Семёна Милосердова. Краток век человека...

Вот само письмо. Оно интересно своей подлинностью и доброй человеческой памятью. Привожу письмо целиком: « 26 апреля 1989 года, возвращаясь из ялтинского санатория маршрутом – Симферополь-Тамбов Донецк в самолёте, в газете «Литературный Тамбов» я прочитал статью о поэте С. С. Милосердове. Фамилия редкая и очень запоминающаяся.

Волей изменчивой судьбы в 1949—1955 годах я оказался в числе опальных, в Унжлаг Горьковской области, и в 1954 году попал на шестой ОЛПе, где работал художником, участвовал в художественной самодеятельности, благодаря которой имел некоторые послабления. Там у нас был кружок любителей поэзии, среди которых были: Милосердов, Глебов, Басюк, Ермолаев и я. Мы нередко обменивались мыслями, читали друг другу свои стихи и находили в этом определённое утешение. Среди других товарищей особо отличался «мужик» Семён Милосердов талантом и своим тихим нравом, скромностью. Какой-то задумчивостью.

И вот теперь... через 54 года, увидав портрет поэта, я узнал его. А потом засомневался... Он ли это? Может быть, брат или однофамилец того человека, с которым мы сблизились в сталинских лагерях.

За эти годы я забыл его имя, но, увидев портрет в газете, сразу вспомнил – так это же Семён, «мужик» Семён!

Первой моей мыслью было написать ему письмо, но в дальнейшей статье было сказано о его смерти, о чём я искренне скорблю и сожалею.

Ещё мне запомнилось, что первым человеком, сообщившим мне об амнистии осенью 1955года, был он, мой друг по несчастью – Милосердов. Он всегда приносил какие-нибудь радостные вести. Действительно – Милосердов.

С уважением Бочаров Леонид Григорьевич.

Вот такое письмо...

«Серёжа... Серёжа... Сорву я серёжки...» история одного автографа

Давно это было, так давно, что я уже забыл и сам необычный автограф, и случай связанный с ним, пока недавно не открыл зелёный томик стихов Есенина и не увидел крупный, округлый и размашистый почерк на внутренней стороне обложки и такую же крупную, округлую подпись под стихами, посвящёнными одному из любимейших поэтов России...

Мы тогда были молоды и рискованны. Захлёбываясь своими и чужими стихами, копытили неровный тамбовский асфальт, кружа по улицам и переулкам ночного города. Чувство свойственное наркотическому опьянению поэзией заводило нас далеко. Иногда, слишком далеко. Балансируя на грани возможного, приходилось знакомиться с милицией, и не только с ней...

В эти присные времена в газете «Комсомольское Знамя», где редактором был добрейший, незабвенный Георгий Ремизов, работал литсотрудником поэт и бретёр, странствующий рыцарь Володя Чиликин, парень талантливый, но, как это водится, без царя в голове. Кстати, мы с ним чуть не задохнулись от горящего полимера, когда, ночуя у меня на квартире, он оставил до утра включённый утюг на толстой, стекловидной поверхности стола.

Как не покажется странным, но этот случай и сблизил нас потом на некоторое время.

У Чиликина была навязчивая идея: после очередной зарплаты колесить, предварительно запасшись двумя-тремя бутылками портвейна, на такси по тамбовским весям.

Не отходя от кассы, он рассчитывался с долгами, а то будет поздно, шёл в винный магазин, а потом – на большую дорогу ловить такси.

Сказав шофёру, чтобы он ехал, куда глаза глядят, лишь бы крутились колёса, усаживался на заднее сидение и, вольно попивая портвейн, ловил кайф. Таксисту что, – знай, крути баранку, коль есть клиент, а у клиента деньги, хоть небольшие, но есть.

Чиликин, не надеясь на себя, что он к концу поездки будет в трезвом виде и чистой памяти, деньги за вояж отдавал заранее и полюбовно. Как только Володя был порядком нагружен, шофёр доставлял путешественника по заранее означенному адресу и – по рукам, до следующей полочки!

В тот зимний вечер мы засиделись в редакции, греясь, как обычно чаем и не только чаем. Остальная часть компании разошлась по домам, и мы с Володей Чиликиным, порядком надоев друг другу, в поисках нового общения вывалились на улицу.

Метель, как свора гончих псов, с глухим завыванием гоняясь из конца в конец по городу, всё время норовила броситься нам под ноги, пока мы стояли, осматривались – куда бы нам податься? Улицы пустынные. Ни прохожих, ни городского транспорта. Магазины закрыты, а пообщаться со свежим человеком очень хотелось.

Совсем недавно на постоянное место жительства в наш город из дымного Липецка переехала известная в то время поэтесса Майя Александровна Румянцева, женщина неординарная во всех отношениях, и Володя предложил сейчас же, немедленно меня с ней познакомиться.

– Она такая баба!.. Такая! – и он в восторге выбросил вперёд руку с поднятым большим пальцем.

Хотя я был не совсем трезв, но и меня одолели сомнения в уместности позднего визита к столь известному человеку. Но предложение было заманчивым. С одной стороны – лестно, а с другой боязно и неловко.

Стихи Румянцевой я знал давно, ещё с армейской службы, по публикациям, и – нередким, в молодёжных журналах. Мне, начинающему ещё только печататься поэту, нравился её

раскованный, максималистический подход к теме, её свободная форма стиха не скованная традиционными для того времени канонами, её молодой и своеобразный голос.

Я, было, уже повернул в сторону дома, но Чиликин потащил меня за рукав в направлении, где в то время жила Майя Александровна.

Завернув за угол городского сада, мы очутились на ярко освещённой площади возле Почтамта.

Я показал Володе на телефонную будку, сказав, что надо на всякий случай позвонить, прежде чем мы окажемся возле дома поэтессы.

Мой напарник икнул:

– А мы так...

Но я настоял на своём.

Надо сказать, что Чиликин, как и большинство журналистов, любил висеть на телефоне, и я, воспользовавшись его пристрастием, подтолкнул товарища в сторону будки. Он тут же мотнулся к телефону, а я, тем временем отошёл в сторону по своей надобности.

Вечный огонь подбитой жар-птицей трепыхался, пытаясь покинуть жестяное гнездо.

Сколько времени прошло, я не знаю, но вдруг за спиной у меня раздался какой-то всхлип, похожий больше на стон. Я оглянулся. Передо мной стоял Володя Чиликин с полным ртом вишнёвого варенья. Варенье стекало по подбородку и капало, капало на снег, окрашивая его в кровавый цвет.

Я ещё, помнится, удивился, – откуда у Чиликина оказалось варенье и он, подлец, решил им втихаря попользоваться. Но, всматриваясь в его перекошенное лицо, слыша глухой стон и невнятное бормотанье, меня медленно охватывал ужас – между выбитых передних зубов торчал, пульсируя, раздвоённый кончик языка.

Володю шатало. Я подставил под его руку своё плечо, и мы потащились в сторону училища Химзащиты рядом с которым и жила Майя Александровна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.